



Джон Бойнтон
Пристли

При блеске дня

АНГЛИЯ. КЛАССИКА. XX ВЕК

Джон Бойнтон Пристли При блеске дня

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6706962
Пристли, Джон Бойнтон При блеске дня : [роман] : АСТ; Москва; 2014
ISBN 978-5-17-081025-3*

Аннотация

Чего не хватает в жизни преуспевающему, талантливому писателю, работающему в Голливуде?

Он немолод – но ведь с годами приходит мудрость. Он не женат – но разве это не его собственный выбор?

У него есть деньги и имя, его сценарии нарасхват, его любит знаменитая актриса.

Так почему же в душе Грегори Доусона поселилась тоскливая, гнетущая пустота?

Случайная встреча в отеле у моря с семейной парой, с которой Грегори общался давным-давно, заставляет его переосмыслить прошлое, чтобы найти ответ на вопрос: когда именно все пошло не так? И не поздно ли еще все изменить?..

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	10
Глава третья	22
Глава четвертая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Джон Бойнтон Пристли

При блеске дня

Посвящаю жене за 14 сентября

При блеске дня ехидна выползает...
Уильям Шекспир. Юлий Цезарь¹

J.V. Priestley Bright Day

Печатается с разрешения автора и литературных агентств United Agents Ltd и Synopsis.

© J.V. Priestley, 1946

Школа перевода В. Баканова, 2013

© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

Глава первая

Поехать в Тралорну и остановиться в гостинице «Ройял оушен» мне предложил Brent, кинопродюсер. По его заказу я писал сценарий для фильма «Леди наносит ответный удар» – точнее, несколько месяцев валял дурака, пока Brent внезапно не заявил, что сценарий ему нужен как можно скорее. Чтобы закончить работу в сжатые сроки, мне было просто необходимо куда-нибудь уехать. Brent предложил Тралорну и «Ройял оушен». В прошлом году они снимали в Корнуолле фильм и останавливались там со съемочной группой. «Лучше места не придумаешь, Грег, – сказал он. – Делать там совершенно нечего, только работать. Номер у тебя будет размером с кинопавильон, кормежка никудышная, а большинство постояльцев приехали туда доживать последние дни. Словом, голодно и скучно – идеальные условия для работы. Смотри не обмолвись хозяевам о нашем знакомстве: они меня на дух не переносят. Бар в гостинице, кстати, приличный, но советую тебе там не засиживаться. Чтобы к середине следующего месяца сценарий был готов!»

И я поехал. А Brent (который всегда говорит так, что невольно сомневаешься в любых его суждениях) вновь меня удивил: все его суждения по поводу гостиницы «Ройял оушен» оказались совершенно справедливы. О лучшем месте для работы нельзя было и мечтать. Меня поселили в огромном номере на самом верху башни, и, работая высоко над сверкающим морем, я чувствовал себя зрителем маяка. Кормили и впрямь скверно, а крошечные порции строго выверенных размеров наводили на мысль о бригаде физиков в поварских колпаках; большинство постояльцев действительно выглядели так, словно приехали сюда доживать последние деньки, а некоторые – словно уже дожили и призраками навек поселились в этих стенах. Мне было голодно, скучно, и я много работал.

Бар действительно оказался неплохим, а Brentа и съемочную группу хозяева вспоминали так, как жители разоренного города вспоминают армию оккупантов. Гостиница была больше, чем я ожидал; она стояла на высоком утесе, за окнами столовой кричали чайки, а где-то далеко внизу ворчал и вздрагивал Атлантический океан. На стенах коридора и вестибюля висело множество бутфорских копий, алебард, щитов и доспехов – сплошные свирепые львы и отдыхающие леопарды. Такое впечатление, что кинокомпания «Метро-Голдвин-Майер» недавно снимала здесь малобюджетный фильм «Айвенго».

Мой режим труда и отдыха был простым и скучным, как тарелка холодной овсянки. Все утро я тарабанил двумя пальцами по клавишам пишущей машинки у себя в башне, затем спускался к позднему обеду в столовую. Днем я бездельничал и отправлялся на прогулку то в деревню, то по дорожкам вдоль обрыва. Выпив чаю раньше положенного, я возвращался в башню и вкалывал до восьми, после чего торопливо шел в бар, где выпивал стаканчик розового джина, а потом принимался за одинокий ужин в углу столовой. К девяти часам я обязательно приходил в вестибюль послушать новости: среди свирепых и отдыхающих зверей гремело радио, сотрясая стены своей беззаветной уверенностью в будущем и рассказами слепцов о земле обетованной. Когда же трио (о них я поведаю позже) вновь принималось играть Эрика Коутса или Коула Портера, я прятался в баре или возвращался к себе, где порой разговаривал по телефону с Brentом или Георгом Адонаем, режиссером фильма, а чаще просто набрасывал план завтрашней работы – и непременно читал американские детективы самого низкого пошиба, многие из которых вышли из-под пера моих вечно пьяных голливудских коллег.

В Корнуолле царила весна, о том говорили все приметы: хлесткий дождь внезапно сменялся ослепительным солнцем, по небу стремительно плыли облака, похожие на ветхие паруса, внизу бесновался зеленый океан, вдоль обрыва цвел утесник, а рядом с гостиницей красовались пышные подушки примул. Однако все это словно бы происходило где-то в сто-

роне и не имело ко мне никакого отношения. Весна не входила в мои рабочие планы, скучные и безотрадные, как и обещал Brent, – а значит, ничто не отвлекало меня от писанины.

Сцена за сценой, кадр за кадром нового фильма «Леди наносит ответный удар» появлялись на бумаге, точно по волшебству. Впрочем, это вовсе не значит, что мне не пришлось потрудиться. Когда пишешь сценарий, работает только одна часть мозга, зато работает на износ: старое доброе подсознание в таких делах не помощник. Как ни бейся, в глубинах разума сокровищ не найдешь, остается только работать извилинами и потеть.

Тут я должен заметить – это имеет значение для моего рассказа, – что будущий фильм был вовсе не так прост, как может показаться на первый взгляд и каковым он предстал бы в пресс-релизах. Мы не хотели снимать обыкновенную полуторачасовую комедию с парочкой трюизмов в финале. По сути своей картина была жесткой и холодной; ее игрушечные герои существовали в мире черного льда. Мы – Brent, я и Георг – хотели исподволь внушить миллионам и миллионам зрителей, расслабленно сидящих во мраке кинозалов, одну мысль: от этого мира нельзя ждать ничего хорошего, дальше будет только хуже, не позволяйте водить себя за нос. И хотя мы никогда не заикались об этом даже друг другу, каждый прекрасно знал, что делает и что остальные двое тоже это знают. Вот она, главная тайна кинопроизводства (пусть рекламные агенты, прокатчики и критики о ней не догадываются), самое настоящее волшебство кинематографа – это тихое нашептывание в темноте на ухо пятидесяти миллионам. Наверное, ошибочно утверждать, будто подсознание не играет в моем деле никакой роли, однако факт остается фактом: каждую сцену, каждую реплику ты спокойно и сознательно продумываешь и выписываешь. Это тяжелый труд.

В гостинице было около сорока постояльцев – сплошь старики да несколько молодых пар, которые заново познавали друг друга после войны. Каждый день я перекидывался с кем-нибудь парой слов – главным образом в баре, – но намеренно не заводил близких знакомств, ведь я приехал сюда работать, а не отдыхать. Особенно тщательно я избегал компании в первые дни, пока раскачивался; впрочем, я и потом продолжал держаться особняком, просто потому что никто меня особо не заинтересовал. И все же одна пара, поселившаяся в гостинице несколькими днями позже, пробудила во мне любопытство. В столовой они сидели всего через два столика от меня. На вид они были весьма состоятельны, даже богаты – обоим под шестьдесят, оба высокие, худые и какие-то иссохшие, словно бескровные. Как часто бывает с престарелыми супружескими парами, на первый взгляд они казались удивительно похожими друг на друга. Примерно одного роста, одинаково сухие, серые, почти прозрачные, с маленькими головами и плоскими лицами. Но вскоре я заметил, что у него глаза были голубые, холодные и мутноватые, а у нее – темные, беспокойные и по-прежнему ясные. Все говорило о том, что некогда она была очень красивой женщиной, однако из-за многочисленных процедур по возвращению молодости выглядела она гораздо старше и хуже своих сверстниц, которые не могли тратить столько времени и денег на внешность. Ее супруг был моложав, розовощек и вроде бы приятен в общении, но что-то в его взгляде говорило о склонности чрезмерно потакать собственным слабостям, которая свойственна многим престарелым зажиточным англичанам и всегда вызывала во мне отторжение.

Любопытство во мне проснулось от смутного чувства, что я уже где-то видел этих людей. Или они просто напомнили мне каких-то давних знакомых... Но кого? Когда и при каких обстоятельствах мы встречались? То и дело за обедом и ужином я напряженно изучал супружескую чету, силясь раскопать в памяти хоть что-нибудь... Все было тщетно. Эта маленькая неразгаданная тайна вскоре начала действовать мне на нервы, и потому несколько дней спустя я решил навести справки об этих загадочных и неприятных людях, которые, между прочим, не проявляли ко мне ни малейшего интереса. Я задал несколько вопросов завсегдатаям бара и в конце концов разузнал, что супружеская чета – лорд и леди Харндин. Он раньше был успешным коммерсантом и прямо перед войной получил дворянский титул.

Все эти сведения никак мне не помогли. Фамилию «Харндин» я слышал впервые.

– Раньше его звали иначе, – припомнил мой собеседник, мужчина по имени Хорнкасл. – Вот только не помню как. Во время войны он работал на правительство, но сейчас, конечно, все бросил. Может, вы на войне встречались?

Я точно знал, что нет.

– Если мы и встречались, то намного раньше. Из Америки я вернулся в начале сорокового и прожил там десять лет – в основном в Голливуде.

– В Голливуде! – сразу оживился Хорнкасл.

Удивительно, как часто люди оживляются при упоминании Голливуда – даже умудренные жизнью старики. Они могут не знать по имени ни единого продюсера, режиссера, сценариста, однако слово «Голливуд» неизменно заставляет их расплываться в улыбке. Звезды кино! Блондинки на миллион долларов! Оргии и пирушки!.. Хорнкасл едва не облизнулся от любопытства.

– Вы работаете в кино, Доусон?

– Да. Пишу сценарии.

– Стало быть, придумываете все, что будут говорить и делать на экране?

– По большей части.

Выкладывать ему сочные подробности голливудской закулисной жизни я не собирался, поэтому сослался на то, что у меня много работы, и отбыл. На обратном пути я принял решение выбросить несчастных Харндинов из головы. В конце концов спонсоры мне не нужны, так с какой стати я днями напролет думаю о титулованных богачах? Тем более они сами никакого интереса ко мне не проявляют. Довольно, сказал я себе, отныне никаких Харндинов.

Наверное, я бы так и не вспомнил, кто они такие, если бы не Шуберт.

Вот и настала пора рассказать о музыкальном трио. За роялем сидел старый чех по имени Зенек, который попусту растрачивал свой талант в баре; выяснилось, что я знаком с его братом, похожим на него как две капли воды, только гораздо ниже ростом и чище плотнее, – тот работал помощником режиссера в «Парамаунте». Скрипачка Сьюзен и виолончелистка Синтия, взъерошенные, но милые девушки из Королевского колледжа, приехали сюда ради бесплатного отдыха на море играть в баре Кольриджа-Тейлора, Эрика Коутса, Джерома Керна и иже с ними. Сьюзен была бойкая коротышка, а Синтия – очень высокая и тихого нрава. Девушки меня забавляли, причем не столько своей непохожестью друг на друга, сколько неизмеримым презрением к гостинице «Ройял оушен» и всем ее постояльцам. После чая и короткого разговора с Зенеком о его брате я обыкновенно перекидывался с девушками парой слов и высмеивал их репертуар (надо сказать, они относились к себе очень серьезно). Я шутил, что до настоящих музыкантов им как до луны, и ужасно злил этим обеих девушек, но в особенности бойкую Сьюзен. Назло мне они однажды решили сыграть Шуберта – и так я познакомился с четой Харндинов.

Я спустился к чаю с небольшим опозданием, когда трио уже оттарабанило подборку вещей из «Плавучего театра». Я заметил, что Сьюзен смотрит на меня особенно дерзко – у нее были очень выразительные темные глаза, – а высокая Синтия, обернувшаяся вокруг виолончели, уж очень робеет. Старик Зенек копался в нотах и весело ухмылялся. Я понял, что следующая композиция будет исполнена специально для меня. Музыканты вознамерились показать себя во всей красе. Я огляделся. Почти все постояльцы уже разошлись, и было очень тихо. Харндины все еще сидели за своим столиком; я строго велел себе не обращать на них внимания и стал ждать музыку, которую, подозреваю, не только выбрали, но и хорошенько отрепетировали. Наконец Сьюзен бросила на меня взгляд, в котором ясно читалось: «А вот съешь-ка!», и музыканты заиграли.

То была медленная часть трио Шуберта си-бемоль мажор, которое я сразу же узнал по виолончели, чей изящный голос медленно и мрачно покачивался на волнах бездонной нежности. Несколькими мгновениями позже, когда виолончель тихо зароптала где-то на втором плане, мелодию подхватила пронзительно-щемлящая скрипка, но я был уже далеко, в давно забытом мире и забытой поре. Я – молодой Грегори Доусон восемнадцати лет, застенчивый и неуклюжий – вновь очутился в гостиниой Элингтонов в Браддерсфорде. Это было полжизни назад, еще до начала Первой мировой. Тонкая лента музыки отодвигала один занавес за другим. Люди и места, которые, казалось, давно растворились в легчайших, почти незримых оттенках моей памяти или превратились в смазанные каракули на пожелтевших страницах старого дневника, начали внезапно вспыхивать перед моим взором, ослепительно живые, – а музыка все змеилась сквозь мое сердце подобно медленной процессии поджигателей. Дом Элингтонов, контора и склад на Кэнэл-стрит, домики на вересковых пустошах, сами Элингтоны: Оливер, Ева, Бриджит, Джоан и их друзья, дядя Майлс, тетя Хильда и вист... Экворт, старик Сэм и прочие мои коллеги с Кэнэл-стрит... Под пальцами вновь зашуршала голубая бумага для упаковки образцов шерсти, и словно по волшебству до меня донесся давно забытый аромат сирени, прибитой дождем летней пыли, чего-то горького... и над Бродстонской пустошью вновь вспархивали жаворонки. Когда музыка умолкла – случилось это скоро, поскольку трио сыграло лишь небольшой отрывок, – я с большим трудом вырвался из забытья, улыбнулся и похлопал музыкантам. В ту же секунду я вспомнил, кто такие лорд и леди Харндин: они по-прежнему чопорно сидели за столом, не разговаривая и не слушая музыку, а лишь молча и упорно борясь с дремотой этого праздного часа. Я поразился тому, что не узнал их сразу, ведь теперь мне было совершенно ясно – ошибки быть не могло, – это Малькольм Никси и его жена Элеонора, столь внезапно появившиеся в доме Элингтонов под эту самую музыку больше тридцати лет назад. Все мы с тех пор изменились, но как же я мог их не узнать?!

Конечно, они ничего не вспомнили; обратное было бы странно и совершенно для них противоестественно. Муж и жена сидели прямо, как штыки, и даже не помышляли о далеком 1913-м, – создания, вышедшие из троянского коня, которого мы столь неосмотрительно втащили в наш осажденный город. Малькольм и Элеонора Никси, внезапно нагрянувшие из Лондона и отобравшие у нас все самое дорогое, чтобы потом стать лордом и леди Харндин, теперь сидели в гостинице «Ройял оушен» Тралорна и гадали, куда себя деть.

Я вовсе не хотел с ними разговаривать; между нами не могло состояться радушной беседы. Однако желание встретиться с ними лицом к лицу оказалось слишком велико.

– Вот уже четыре дня я гадаю, где мы с вами могли видаться, – обратился я к Харндинам, – и наконец вспомнил.

Они любезно поздоровались, но не сумели скрыть некоторого смущения. Богатые люди должны быть осторожны.

– Меня зовут Грегори Доусон, больше тридцати лет назад мы с вами встречались в Браддерсфорде. Мы даже вместе работали – «Хавес и компания», помните?

Да конечно, теперь они вспомнили. Переглянувшись, супруги и меня одарили милой ностальгической улыбкой, непоколебимо уверенные в том, что я отдаю себе отчет, каким далеким и нелепым было наше браддерсфордское прошлое. В конце концов я ведь тоже отдыхаю в гостинице «Ройял оушен», не так ли? Состоятельный господин средних лет... Что ж, надо непременно встретиться за коктейлем или чашечкой кофе с ликером и вспомнить старые добрые времена. Примерно к этому, как я и предполагал, свелся наш разговор.

– Позвольте-ка, – все еще улыбаясь, сказал лорд Харндин, – вы ведь записались добровольцем, не так ли? А потом что? Торговлей больше не занимались?

– Нет, после демобилизации в 1919-м я получил работу на Флит-стрит, был несколько лет журналистом, написал пару романов, пьесу и в конечном итоге попал в Голливуд.

– А-а... кинематограф.

Я заметил, что Элеоноре тоже понравилось, как это звучит. Выходит, юный Доусон неплохо устроился. Кино – прибыльное дело.

– Помню-помню, – медленно проговорила она, бросив на меня весьма лестный взгляд по-прежнему красивых глаз, разом уничтоживший две мировые войны и годы неразберихи между ними, – вы и тогда были смышленным юношей, уже что-то писали.

– Больше болтал, чем писал. А теперь наоборот: приходится писать и помалкивать. Ну, мне пора, работа ждет, сроки горят. Еще увидимся – быть может.

Теперь лорд и леди смотрели на меня совсем другими глазами, нежели чем когда я впервые обратился к ним со словами о нашем общем прошлом. И все же в их взгляде сквозила неуверенность: они не могли решить, что думать о писателях, которые, как показывал опыт, могли быть и бездельниками, и могущественными злыми колдунами. В итоге Харндины на всякий случай попросили меня поскорее составить им компанию. (Настолько им было скучно и одиноко.) Я пообещал исполнить их просьбу и спешно удалился, ничем не выдав, что минуту назад передо мной разверзлась пропасть воспоминаний, – словно Брандсфорд остался для меня в таком же далеком прошлом, как и для Харндинов, и словно Шуберт не нашептывал мне только что из могилы.

Глава вторая

Есть несомненные преимущества в том, что тебе пятьдесят и за плечами – серьезный профессиональный опыт. Я поднялся в номер с намерением долго работать – и работал. Пусть Брэддерсфорд, Элингтоны, дядя Майлс и все остальные только что занимали мои мысли без остатка, усилием воли я отодвинул их на второй план и попросил подождать. Написанные в тот вечер сцены оказались ничуть не хуже и не лучше утренних или вчерашних; пожалуй, сначала мне было трудно сосредоточиться – но и только. Однако, спустившись вечером к ужину, я понял, что не смогу побеседовать с Малькольмом и Элеонорой Никси (называть их Харндинами язык не поворачивался), пока не приведу в порядок воспоминания о своей жизни в Брэддерсфорде. А вдруг выяснится, что я в них ошибался? Была и другая опасность: если бы я не попытался воскресить в памяти события тех дней, не познакомился заново с четой Никси, то в непринужденной атмосфере посиделок за кофе, на фоне стариковской болтовни и успеха в высоком обществе я мог опуститься до такого же снисходительного отношения к собственной молодости, мог из одной только лени принять идеалы и воззрения Харндинов. В этом случае великое движение жизни и вызов, что звучали в медленной мелодии Шуберта, потеряли бы всякий смысл. А я хотел, чтобы они что-то значили. Это было мне необходимо, насколько нечто подобное вообще может быть необходимо человеку. Чтобы шагнуть вперед, я сперва должен сделать шаг назад.

Поэтому, когда после ужина я вошел в бар и увидел, как Никси выжидательно смотрят по сторонам (Малькольм даже помахал мне рукой), я подошел к их столику и сказал, что вынужден как можно скорее вернуться к работе. Они расстроились – причем искренне – и спросили, когда у меня будет свободное время. Быть может, завтра?

– А знаете, Доусон, – произнес Малькольм после минутного колебания, – по-моему, вы тоже давненько не вспоминали старый добрый Брэддерсфорд. Столько воды утекло... Благодаря вам мы весь день предаемся воспоминаниям: Элеонора помнит одно, я другое. Люди, имена... Все это в некотором смысле любопытно.

– Не все наши воспоминания сходятся, – с улыбкой добавила его жена. На ней было черное платье, и она явно тщательно готовилась к ужину. Несмотря на старческую дряблую кожу и чересчур яркий макияж, который скорее подчеркивал возраст, нежели скрывал, в золотистом свете бара леди Харндин все еще была весьма привлекательна и не так уж безнадежно отличалась от Элеоноры Никси из моего прошлого. – Мы надеялись, вы нас рассудите, мистер Доусон. Если, конечно, из-за Голливуда и прочего память не подводит вас еще досаднее, чем нас.

– Посмотрим. Я действительно давно не думал о Брэддерсфорде, – ответил я, – но память у меня хорошая. Так что продолжайте ностальгировать, а я присоединюсь к вам позже.

Тут кто-то подошел к столику и предложил Никси сыграть партию в бридж, поэтому я смог улизнуть. В номере – его изрядные размеры позволяли легко забыть, что это спальня, – я включил электрический камин, надел удобную пижаму, халат и тапочки, погрузился в кресло, закурил сигару, несколько минут слушал завывание ветра за окном башни и шелест прилива внизу, а затем отправился в далекое прошлое – прямоком в довоенный Брэддерсфорд.

В Уэст-Райдинге живет немало Доусонов, однако в Брэддерсфорде родилась моя мать, а не отец (он родом из Кента). В девичестве ее звали Лофтхаус, и они с отцом познакомились в Скарборо, если не ошибаюсь, во время его первого приезда домой из Индии, где он был на государственной службе. О своем раннем и позднем детстве я решил не писать – в тот

вечер я о них не вспоминал, – так что предлагаю пропустить эту пору моей жизни и сразу перейти к рассказу о том, как я попал в Браддерсфорд.

Я был единственным ребенком в семье; поэтому, когда меня отправили учиться в частную школу (недорогую и малоизвестную), мама уехала к отцу в Индию и большую часть времени жила там. В последний год моей учебы – всего за несколько недель до сдачи вступительного экзамена в Кембридж, – мой отец, человек добросовестный и крайне упрямый, слег со страшной лихорадкой, а мама примчалась его выхаживать и пала жертвой той же эпидемии. В считанные дни я остался без обоих родителей. Потрясенный и раздавленный горем, я при всем желании не смог бы сдать вступительный экзамен. Порой мне казалось, что я тоже умер и превратился в привидение. Взрослея, мы часто забываем, что в юности отчаяние еще более громко и всепоглощающе, чем оптимизм: никогда больше перед нами не вырастают столь неприступные голые стены печали. С годами я многое повидал – торчал в окопах по пояс в воде, угодил под пулеметный огонь, пережил бомбежку и отравление ядовитым газом, считал последние шиллинги, терял всех друзей до единого, видел, как мою работу портят чужие люди, и портил ее сам, но никогда меня не обуревали такое горе и безысходность, как в те последние месяцы учебы. Говорю я это лишь затем, чтобы вы поняли, какие чувства я испытывал – и продолжаю испытывать – в отношении тех двух лет в Браддерсфорде. Я поднялся на холмы Уэст-Райдинга напрямик из болота.

А помогли мне из него выбраться заботливые руки дяди Майлса, единственного брата моей матери, и его жены, тети Хильды. Своих детей у них не было, и меня они любили так же сильно, как я их. Мы договорились, что после окончания учебы я приеду жить в Браддерсфорд, где, разумеется, я уже не раз бывал. Если позднее я все-таки захочу поступить в Кембридж, они об этом позаботятся (им пришлось бы почти целиком оплатить мое образование, поскольку наследство мне досталось весьма скромное). Однако я заверил их, что поступать никуда не хочу и учеба больше меня не интересует. А вот чего мне по-настоящему хотелось, так это писать, но я пока не знал, что именно. Большую часть времени я только воображал, как буду писателем – неким абстрактным тружеником пера, – вместо того чтобы всерьез задуматься о своем призвании. Это простительно для юности и губительно для взрослого человека. Раз или два я намекнул дяде с тетей о своей мечте, и те в ответ разумно заметили, что при всем желании не смогут сделать из меня писателя – это под силу лишь мне самому. А тем временем, раз уж я не хочу поступать в университет, почему бы не заняться чем-нибудь полезным и не подзаработать денег? В конечном итоге было решено: после праздников дядя Майлс попробует подыскать мне какую-нибудь работу в области производства или торговли шерстью. Так я попал в Браддерсфорд, где вскоре устроился в «Хавес и компанию» и познакомился с Элингтонами, а также с их окружением, в том числе Малькольмом и Элеонорой Никси.

Дядя с тетей жили в районе Бригг-Террас, молодом и растущем пригороде на севере Браддерсфорда, между лаврово-араукариевой роскошью и великолепием особняков Мертон-парка, где жили богатые коммерсанты и владельцы шерстяных фабрик, и длинной мрачной Уэбли-роуд, по которой сродни призракам бродили туда-сюда трамваи. Дом был совсем скромный, но очень уютный. Мне выделили большую спальню в задней его части, где я спал и проводил досуг. В двух книжных шкафчиках поместилась моя небольшая библиотека, и я с достоинством королевского библиотекаря регулярно переставлял с полки на полку томики двух собраний классической литературы – «Библиотеки для всех» издательства «Рэндом хаус» и оксфордской «Мировой классики», а также немногочисленную коллекцию современных произведений. Стены я завесил собственными фотографиями и репродукциями шедевров изобразительного искусства. В углу поместился шумный газовый камин. С чердака я притащил в свою комнату старое дедушкино бюро и два покосившихся кожаных кресла. Так спальня превратилась в гостиную, где я мог бы принимать друга – как только

друг найдется. Источниками света служили две злобные калильные сетки, небольшие, зато яркие и словно бы трепещущие от гнева. Помню я и вид из двух моих окон. Одно выходило на довольно унылую панораму задних садов, пыльных зарослей бирючины, бельевых веревок и сваленных в кучу досок на пустыре, а сбоку возвышалась огромная труба Хигденской фабрики – в то время это была самая большая труба самой большой шерстяной фабрики в мире. В другом окне за россыпью крыш виднелся в дымке краешек вересковой пустоши. Разумеется, я был в восторге от своей комнаты, и никакое другое жилье потом не рождало в моей груди столь приятного чувства обладания – хотя мне доводилось жить и в Амальфи, и в Санта-Барбаре. Впрочем, я был молод и непоседлив, поэтому проводил в своей комнате только ночи; самое большое удовольствие я получал просто от осознания, что такая комната у меня есть.

Дом в Бригг-Террас почти сразу стал мне как родной и вовсе не потому, что все мое детство прошло в разъездах, а благодаря стараниям тети и дяди. Я одинаково любил их обоих, но они были настолько разными людьми, что подчас казались мне дуэтом комедиантов. У тети Хильды отсутствовало чувство юмора – то есть вообще, начисто. При этом она без конца делала что-нибудь по дому: великолепная хозяйка и неутомимый борец за чистоту, она служила высшим идеалам безупречности, нам с дядей Майлсом не доступным. При этом тетя прекрасно готовила – и вот это мы вполне могли постичь. У нее работала одна служанка, пухлая и постоянно фыркающая Элис, дочь горняка с Барнсли-уэй. Еще была поденщица миссис Спеллман – невысокая и тощая, но с оглушительным браддерсфордским голосищем, который всегда звучал одинаково громко: самые незначительные саркастические замечания сотрясали стены всего дома, а любые комментарии, сделанные во время мытья передней, были слышны далеко за пределами веранды. Тетя Хильда заваливала прислугу работой, не жалея, – но себя она жалела еще меньше. В компании же, одетая в строгое черное платье практически без украшений – а те немногие украшения, что у нее были, всегда имели похоронный вид, – бледная и болезненно красивая, тетя Хильда производила впечатление человека, медленно приходящего в себя после страшной утраты. На пикниках и вечерах, посвященных игре в вист, она выглядела так, словно пришла на чтение завещания. У тети были правильные черты лица, своей бледностью наводившего на мысль о мраморных статуях; уголки ее рта всегда были опущены, словно от неизбывного горя, и потому верхняя губа со временем удлинилась; говорила она низким скорбным голосом. Выбираясь на встречу с друзьями, больше всего тетя Хильда любила поболтать о своих недугах, из пустяковых превратившихся в серьезные, об операциях и катастрофическом упадке сил, о полном крахе и грядущей смерти. Другой ее излюбленной темой была недвижимость, потому что кое-какую собственность она унаследовала сама (подозреваю, благодаря этому они могли позволить себе содержание дома в Бригг-Террас) и в те годы говорить о недвижимости в Браддерсфорде было модно. Два пожилых респектабельных горожанина могли отправиться на долгую прогулку и беседовать исключительно о рынке жилья. По воскресеньям тетя Хильда (как и тысячи других браддерсфордцев) любила прогуливаться по дорожкам огромного кладбища за лесом Уэбли и там обсуждать с приятелями и приятельницами бесчисленные симптомы страшных болезней, смерти, похороны, завещания и дома.

Однако за этой скорбной маской скрывался неисчерпаемый запас доброты. Она с удовольствием принимала гостей и была щедрой хозяйкой, а также твердо придерживалась старомодного женского убеждения, что мужчин, сколько бы неприятностей они ни доставляли, необходимо часто, обильно и вкусно кормить. Причем тетя Хильда была весьма разборчива и привередлива. Мысль об этой ее черте заставила меня вспомнить и двух сестер Синглтон, которые держали небольшую кондитерскую лавку недалеко от Мертон-парка. То была любимая лавка моей тети – воплощение ее представлений об идеальном магазине. Сестры Синглтон, робкие и застенчивые старушки, неизменно краснели, сообщая, что вся выпечка

уже распродана (казалось, в их крошечной лавке вообще никогда ничего не было, кроме этих извинений и пунцовых морщинистых щек), однако они настолько самоотверженно служили некому гастрономическому идеалу – заодно с тетей Хильдой и еще парочкой столь же разборчивых матрон, – что успевали испечь лишь десятую часть того, что могли бы продать. Любого современного дельца сестры Синглтон довели бы до отчаяния и самоубийства. В своем упорном желании продавать лучшее и только лучшее они превратили кондитерскую лавку в неприступную крепость хорошего вкуса и добросовестности. И если наша Вселенная – не просто бестолковая машина для перемалывания вещества, то в каком-нибудь причудливом, но уютном измерении моя тетушка Хильда по сей день бредет в лавку сестер Синглтон за последним ржаным хлебом и шестью эклскими слойками.

Я сидел в номере гостиницы «Ройял оушен», за окнами башни выл ветер, где-то внизу грохотал Атлантический океан, и сквозь года я вновь услышал тетушкино укоризненное: «Ну что же ты, Майлс!» Однако когда она произносила эти слова – а произносила она их очень часто, – в ее темно-карих глазах всегда появлялся едва уловимый озорной блеск. Теперь-то я понимаю, тетино неодобрение было напускным, а в душе она восхищенно аплодировала всем причудам и капризам своего мужа, коих у него был изрядный запас. В юности я, конечно, никогда всерьез не задумывался об их отношениях; они казались мне чем-то незыблемым и вечным, как Пеннинские горы. Но сейчас, плавая среди обломков чужих браков, я осознаю, каким необычайно крепким и счастливым был их союз. Временами они ругались, однако ничего даже отдаленно напоминающего серьезную ссору я не припомню. Тетя с дядей безупречно дополняли друг друга. Тайная подсознательная жизнь одного отражалась на лице другого. Печальные хлопоты, смертные одры и надгробные памятники, до которых дяде Майлсу не было никакого дела, давно стали привычным реквизитом тетиной общественной жизни; непринужденное сибаритство и паясничанье, что тетя сурово в себе подавляла, гордо выставлял напоказ дядя.

Он был приятным и добродушным толстяком, стабильно набиравшим вес, с внушительным и красивым лицом – такие часто бывают у американских политиков, которые обещают больше, чем в состоянии исполнить. Густая копна волос, пышные усы, танцующие голубые глаза и сияющие румяные щеки – так он выглядел. (Я перепробовал все современные приборы для бритья вплоть до последних чудес техники, но того поразительного эффекта, какого дядя добивался при помощи обыкновенной опасной бритвы, мне достичь не удалось.) У него было собственное маленькое дело – что-то загадочное, связанное с отходами шерстяного производства и идеально подходящее для человека с широким кругом интересов. Если йоркширский крикетный клуб играл на стадионе «Лордс» или «Овал», у дядюшки всегда находился повод отправиться по делам в Лондон; если же он хотел отдохнуть недельку в Моркаме, Фили или Йоркшир-Дейлз, то работа от этого ничуть не страдала; притом даже в рабочие дни у него оставалась масса времени на домино и шахматы, любители которых собирались в курительных комнатах многочисленных кофеен близ шерстяной биржи. Словом, то было идеальное занятие для весельчака, чья жена унаследовала кое-какую недвижимость. Брэддерсфордская текстильная промышленность беспечной довоенной поры без труда кормила сотни подобных везунчиков. Я буквально вижу, как они сидят за шахматными досками в дымке душистой «Виргинии» или «Латакии», неспешно шагают на трамвайную остановку или садятся в поезд, отправляясь смотреть крикет в Лондон или ловить треску на Уорфе. Днем дядя Майлс курил исключительно трубку – всегда одну и ту же смесь «Биржевую» из магазинчика Порсона на Маркет-стрит (весьма недурную, я бы и сейчас от нее не отказался); вечером же, потягивая коктейль за томиком Уильяма Джекобса, он любил выкурить сигару. Дядя вообще много чего любил: прогулки по вересковым пустошам, черничный пирог, парное молоко; сидеть на солнечной стороне крикетного стадиона, любуясь игрой Хирста, Родса или Хэйга; кларнеты и флейты гвардейского духового оркестра

в парке, играющего Делиба или Массне; Генделя в старательном исполнении браддерсфордского любительского хора; кривлянья Маленького Тича и Роби, «Шестерых счастливиц» или Фреда Карно в мюзик-холле «Империл»; пироги со свининой, телятиной или ветчиной, чай с каплей рома; коварно обставить противников в вист, а затем устроить шумную игру в шарады; резкие выпады Ллойда Джорджа или Филипа Сноудена против тори и разгромные статьи ведущих авторов «Манчестер гардиан». Нет, в моем дяде не было ничего бунтарского, и разжечь огонь революции ему бы никогда не удалось – да не шибко-то и хотелось, – однако он придерживался твердых прогрессивных взглядов, всегда готов был их отстаивать и часто поражал меня умением вести подобные споры. Дядя Майлс до сих пор жил в той свежей и полной надежд атмосфере раннего лейборизма, когда партия еще не знала предательства, а ее структура не успела стать излишне запутанной. В те дни, казалось, старая добрая Англия – с ее крикетом, Уильямом Джекобсом, «Биржевой» табачной смесью, свинными и черничными пирогами и июньскими утрами на рыбалке – все еще поджидала нас за ближайшим углом.

В нашем доме часто бывали гости – друзья семьи. Дядя и тетя ездили с ними отдыхать в Йоркшир-Дейлз, ужинали и играли в вист. С кем-то они познакомились в Конгрегационалистском молитвенном доме Парксайда, который регулярно посещали. Другие, понятно, были соседи, ибо в Браддерсфорде той поры, а может, и в теперешнем Браддерсфорде, но уж точно не в других современных городах соседи быстро становились друзьями; никто и помыслить не мог об одинокой жизни в унылых коробках, которая в тридцатых годах XX века едва не свела с ума тысячи домохозяек из пригородов. Люди скромно и непринужденно делились друг с другом теплом и принимали его как должное. Потому-то в нашем доме так часто бывали гости. И хотя мой дядя и его друзья иногда посещали концерты, театры и мюзик-холлы, все же гораздо чаще, чем принято теперь, они развлекались сами и развлекали других, не перекладывая это бремя на плечи киношников и работников радио. Пусть я пилую сук, на котором сижу, но я твердо уверен: людям того времени жилось куда веселее, чем безвольным толпам нынешних кинозрителей и радиослушателей. Быть может, если бы широкая публика и сегодня умела развлекаться самостоятельно, современные фильмы и радиопередачи были бы вынуждены соответствовать куда более высоким требованиям: в противном случае люди, не страдающие от скуки, просто не стали бы их смотреть и слушать.

Однако тут мне пора остановиться, – ведь если я начну вспоминать всех чудачков, с которыми дружил мой дядя, я никогда не доберусь до Элингтонов. Ничего не поделаешь, рано или поздно кое-кто из них все равно появится в моем повествовании – так же внезапно, как они появлялись в нашем доме, – но провоцировать я их не буду.

Итак, мне – молодому человеку восемнадцати лет – надо было как-то устраиваться в жизни и в Браддерсфорде. Обживаясь в своей комнате, будучи в самых добрых и теплых отношениях с дядей и тетей, потихоньку приходя в чувство после потери родителей, еще не мужчина, но уже не школьник, я начал оглядываться по сторонам и познавать этот новый мир шерсти, фабрик и вересковых пустошей. Затерянный в дыму среди Пеннинских гор, ошетилившийся высокими фабричными трубами, с лицом из почерневшего камня, Браддерсфорд считается неприглядным городом. Однако его неприглядность зачастую не отталкивает, а наоборот, притягивает; он мрачен, но не убог. Вересковые пустоши были здесь испокон веку, и горизонт испокон веку вселял надежду. Ни один браддерсфордец не мыслил жизни без гор и голубого воздуха; одна его нога всегда была по колено в вереске; стоило лишь заплатить два пенса за проезд в трамвае и затем полчаса карабкаться вверх, чтобы услышать жаворонков и кроншнепов, понежиться на древних скалах, прогретых солнцем, и полюбоваться дрожащими на ветру колокольчиками. В ясные дни, когда вдаль хорошо просматривались горы, улочки центрального Браддерсфорда под зыбким пологом дыма казались мне особенными и по-своему очаровательными: они существовали на грани между тусклым золотом и серой мглой. Вот и теперь на любом задымленном железнодорожном вокзале ярким солнечным

днем я сразу вспоминаю Брэддерсфорд: как я изо дня в день шагал на работу в «Хавес и компанию» по Кэнэл-стрит. И еще мне приходят на ум строчки из Йейтса, Хаусмана, де ла Мара и Ральфа Ходжсона – просто потому что в те дни они подобно жирным золотым пчелам непрерывно жужжали у меня в голове. Я подолгу размышлял о смысле стихов у себя в комнате, носил самые выразительные и волшебные строки с собой по улицам и порой орал их во все горло, как дурак – пугая овец, – посреди ветреных вересковых пустошей. Все говорят, что современная поэзия очень хороша, но я что-то не представляю, как ее можно орать с горной вершины; я вообще ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь цитировал современных поэтов. Да, все меняется, и поэзия тоже. Однако те стихи, которыми я восхищался в 1912-м, можно было твердить про себя снова и снова, как волшебное заклинание, или вытащить наружу и носить, как яркий шарф.

Примерно в то же время, когда мы начинаем восхищаться волшебством поэзии, в нашей жизни появляется и другая магия – ее творят удивительные незнакомцы и незнакомки, которых мы лишь мимоходом видим в трамвае и даже не чаем узнать поближе. Среди каменных джунглей города, по которому мы бродим, нам встречаются чудесные создания из неведомого и доселе невообразимого племени. Потом, становясь старше, мы тоже знакомимся с интересными людьми, но это уже не то: загадка, магия, мечты о ярких неизведанных мирах нас более не преследуют. Я до сих пор помню, как они преследовали меня в те первые месяцы в Брэддерсфорде.

Самая короткая дорога из района Бригг-Террас в центр города – это мрачная и унылая Уэбли-роуд, по которой, стаяя и раскачиваясь, бродят туда-сюда высокие трамваи. На них я и ездил, одинокий и неприкаянный, мучимый той сумасшедшей смесью гордости и застенчивости, какая обычно свойственна молодым людям. Именно в трамвае я впервые заметил одну любопытную компанию, в ней обычно было от трех до восьми-девяти человек, но удивительный дух ее при этом оставался неизменным. Они принадлежали тому самому загадочному и чудесному племени, живущему более полной жизнью, чем я. В трамвае я старался сесть как можно ближе к ним; встречая их случайно на улице, я непременно переходил дорогу, чтобы идти с ними по одному тротуару. Если же на несколько дней они исчезали, мне начинало казаться, что вступил в силу страшный и несправедливый приговор к изгнанию – причем изгнали не их, а меня.

Я понимал, что сердце компании составляет какое-то семейство, однако отличить родственников от друзей мне не удавалось. Несколько раз я видел в трамвае возможного отца: довольно высокий и темноволосый человек без шляпы, в старом твидовом костюме, с большими залысинами спереди, но густыми седеющими волосами сзади и овальным добродушным лицом. Матерью была, как я догадывался, красивая женщина тихого нрава. Но кто были дети, а кто – друзья детей, оставалось для меня загадкой. Был среди них один юноша на год или два старше меня, в костюме из плотного твида и развевающимся галстуке, всегда растрепанный, громко хохочущий и с вишневой курительной трубкой. Я не хотел признавать, что он мне интересен, однако в глубине души испытывал восхищение и чувствовал себя почти униженным, видя и слыша его бравату. Руки у него постоянно были чем-то заняты – книгами, пластинками или даже продуктами, – и он мог в три секунды занять четверть трамвайного салона. Но особенный душевный трепет вызывали во мне девушки – королевы и принцессы великолепного таинственного племени. Среди них была одна совсем юная, чуть неряшливая, всегда сверкавшая зеленым взбудораженным взглядом. Другая девушка – нежная, улыбка, белокурая – часто ехала в сопровождении высокого черноволосого юноши, которому я страшно завидовал. Третья, постарше, со сливочно-белым лицом, темными бровями и огромными серыми глазами, первой обратила на меня внимание в трамвае: она бросила на меня веселый взгляд и тем самым как бы отметила мое присутствие – до сих пор я для чудесного племени не существовал. Все они были чрезвычайно увлечены собой и своими